

Это случилось, когда мне было одиннадцать лет. В этом возрасте нам бывают ниспосланы совершенно недетские переживания. А всё потому, что юная душа рвётся, куда её никто не просит...

Я училась в пятом классе и должна была после уроков идти в библиотеку на встречу с детским писателем. Нас, детей, отпустили домой пообедать и переодеться в парадную форму. Литератор был фронтовиком, и ему следовало оказать особое почтение. В общем, в этом мероприятии не было ничего необычного. И всё прошло бы гладко, как и проходили подобные мероприятия во времена моего советского детства в нашем прямолинейном мускулистом промышленном городе, где всегда чтили местные литературные традиции. Эту спокойную, невозмутимую и, кажется, невозможную гармонию грубой металлургической материи и слова я больше никогда и нигде не чувствовала, кроме как в Свердловске 80-х годов. Возможно, именно этот монолитный сплав двух разнородных начал дал мне уверенность в единстве человеческого и творческого «Я». Теряюсь и не умею назвать эту утопическую философию, вследствие которой для меня не только гений был несовместим со злодейством, но и герой был несовместим с бесталанностью. Поэтому мысль о том, что ветеран Великой Отечественной войны может быть плохим писателем, казалась мне бесповоротно кощунственной.

И, что самое интересное, я до сих пор не уверена, была ли подобная вера в этакую Леонардовскую симметрию только лишь плодом поздней коммунистической идеологии или я привнесла в неё зачатки собственного мировоззрения. А как другие дети той эпохи? Я не спрашивала. Тогда мне казалось очевидным, что все, кто со мной, – дружественное мне детское воинство и мои взрослые союзники, – все они думают так же, как и я. Утрата этой уверенности стала в своё время куда более значимой потерей невинности, чем её физиологический аналог.

Но вернёмся в тот день, который не предвещал никаких потрясений. Единственное, что было в нём изначально необычного, – то, что папа был дома. Готовился к лекции. Он много лет преподавал в университете разные спецкурсы по физике, реже общие потоки, и готовился обычно по ночам, а потом шёл на основную работу в ин-

ститут. Таким образом, работал он почти круглые сутки, и днём застать его дома – нонсенс!

– Так, ты куда? – деловито спросил он, не отрываясь от своих бумаг с закорючками, как я называла все эти непостижимые иероглифы теорий высшего порядка.

– Я на встречу с писателем, – отозвалась я из маленькой комнаты, напяливая белый фартук.

– С каким ещё писателем? – ухмыльнулся папа, всё так же не особо отвлекаясь от работы.

– Ну, нам в школе сказали! – начинала я злиться. – Это обязательно! Просто какой-то писатель...

– А зовут-то его как? – не унимался папа.

Я со вздохом заглянула в дневник, где было записано сегодняшнее мероприятие. Там значилась только труднопроизносимая фамилия:

– Швиндт.

– Нет такого писателя, – со спокойным удовлетворением ответил папа, словно только этого и ждал.

– Да как это нет?! Он есть! Мы же с ним в четыре часа в библиотеке встречаемся. Всем классом!

Я вдруг с ужасом поняла, что в моих руках нет никаких вещественных доказательств существования таинственного Швиндта. И от этого мне ещё отчаянней захотелось свидетельствовать в пользу этого человека. Я вдруг оказалась в ответе за него, хотя он понятия не имел ни о моих гуманитарных инициативах, ни в принципе обо мне. Впрочем, положила руку на сердце, никакой остроты не нагнеталось. Папа вечно шутил, с лёгкостью вычеркивая из вселенной тех, без чьего присутствия она, по его мнению, только выигрывала. Но это обычно касалось людей, облечённых властью, влиянием или бременем славы. Отрицать существование вульгарной звезды эстрады или старой номенклатурной примадонны, которая никак не хочет уступить место на сцене молодым и талантливым... или какой-нибудь начальственной академической шишки – это свежо! Это бодрит и поднимает тонус человеку с математическим складом ума. Да с любым складом – лишь бы ум наличествовал... Поэтому в семье привыкли к папиным ироническим максимам. Но до сего момента его ирония не распространялась на безобидных людей. А кому помешал детский писатель Швиндт?! Папин авторитет впервые пошатнулся. А во мне проклюнулся правозащитник.

Я пришла на встречу и неожиданно для себя даже задала вопрос писателю. Напрочь не помню, какой, зато помню, что взяла в библиотеке его книгу. Помню, сюжет её был про девочку, любившую лошадей. Лошади меня тронули. Нам, детям, было сказано, что желающие могут написать сочинение по произведениям Семёна Швиндта в качестве работы по внеклассному чтению. И я стала этим желающим! Возможно, единственным. А всё потому, что во мне росло неясное желание что-то доказать – уже не папе, быстро забывшему этот эпизод, а... миру! Доказать или объяснить самой себе, что в данном случае одно и то же. Потому что многое было мне непонятно. Вот есть писатель, который не виноват, что у него немного смешная бухгалтерская фамилия. И что он не такой известный, как Маршак или Анатолий Алексин. Но ведь рассказы у него хорошие. Да, я помню, мне понравились его рассказы. Или... не помню?! Может, они приглянулись мне из упрямства – ведь я чувствовала, что в ответе за Семёна Швиндта. Скажете, что нет любви из жалости? Но это мои нынешние многие знания – многие печали придают жалостливый оттенок этой истории. А тогда мой пытливый организм ещё толком не распробовал то, за что можно жалеть писателя, – он просто чувствовал несправедливость некой смутно ощущаемой иерархии, которая делала возможным называть этого человека несуществующим. Даже шуточки ради! И почему так получается: раз человек искусства не на слуху, значит, он как будто не настоящий. Неважный. Необязательный.

И кто вообще заведует пантеоном?! Назначает великих и держит незначительных на галёрке... Тогда, в одиннадцать лет, мне была незнакома роль связей, покровительства и везения в литературной судьбе. Я, и будучи вполне совершеннолетней, упрямо пыталась доказывать, что можно обойтись без этих трёх китов – за неимением оных... Мне хотелось играть почестному, по гамбургскому счёту, мне мечталось выиграть по любви, получив вожделенный приз чистого признания, без примесей. И мечтается до сих пор. Но уже тогда меня терзали неосознанные догадки о том, что чем интересней и впечатляющей оказывается для меня произведение, тем неохотнее его вписывают в программу, сдвигая во внеклассное чтение. В итоге в этом самом моём заштатном чтении ради места для Семёна Швиндта потеснились мои любимые сказочники. До той памятной встречи в библиотеке я вообще-то в этом полугодии собиралась писать о Вильгельме Гауфе! Но тот и без меня прекрасно справлялся. Всё ж таки ему не нужно было приплетать социалистическую героиню будней, чтобы напечататься. А Швиндт... на одной девочке,

любившей лошадей, он далеко не уедет, пардон за неловкий каламбур... А родину кто будет любить? Словом, неравные позиции великого немца и одарённого уральца мне были очевидны.

И вот моему земляку как участнику Великой Отечественной кинули кость к очередному юбилею победы: встреча с юными читателями в детской библиотеке и почётное право побыть в роли объекта для необязательного сочинения – если повезёт и кто-то из пригнанных на мероприятие отроков обратит благосклонное внимание на его скромные тонкие книжки Средне-Уральского издательства...

Скажете, что это далеко не худшая писательская судьба в Советском Союзе? И я, конечно, соглашусь! Но в одиннадцать лет я этого ещё не знаю. Я верю, что всё поправимо, только надо сломать эти нелепые литературные границы между классом и внеклассом, ведь критерий – только твоя личная горячая дружба с книгой! Только твой жадный интерес. Только твоё потрясение!

Что интересно: не услышь я от папы тогда эту ухмылку про «нет такого писателя», я, вероятно, и не забивала бы себе голову этими реформаторскими мыслями. Да вообще стала бы другим человеком... Всё-таки зачем он это сказал?

Может быть, кто-то заподозрит, что это был пренебрежительный намёк на комичную местечковость фамилии? Дескать, ещё бы на встречу с Рабиновичем отправилась... Но даже будь я Павликом Морозовым, обвинить папу в националистических мотивах было бы последним вероломством. Он был преданным фанатом еврейских анекдотов и к моим одиннадцати годам успел мне объяснить, что, не будь у представителей еврейской нации иных заслуг, их можно было бы уважать только за создание уникального самоироничного эпоса, который ведь одновременно и наш, потому что нигде так не расцвёл, как на русскоязычной почве. Смешное папа ценил очень высоко и смеялся вместе с его создателями, а не над ними. И мною была впитана именно такая сущность юмора. Для меня само собой разумелось, что, повторяя свою некогда любимую профессиональную каверзу о том, что теоретическая физика – это не профессия, это национальность, папа посмеивается не над чьей-то «национальностью», а над своей «беловоронностью», невезучестью, а главное, как говорят французы, над своим лестничным остроумием.

Вот это отсутствие молниеносной реакции в шутейном разговоре чуть было не подвело его однажды в разговоре опасном, что имело косвенное отношение к моему беспристрастному расследованию. Папу вызвали в КГБ. Всех вызы-

вали, кто становился старшим научным сотрудником. На предмет сотрудничества, чего же ещё... «Вы случайно не в курсе, кто-нибудь из ваших коллег переписывается с Израилем?» – допытывался сотрудник органов. «Ну что вы! Откуда! Конечно, нет!» – старался как можно убедительнее отрицать свою осведомлённость папа. Но быстро отвязаться от неприятного разговора не получалось, и он решил неловко разрядить обстановку:

– Товарищи, а что вы, собственно, к евреям привязались? Они ведь... в чём-то лучше нас... – вырвалось у папы, о чём он тут же пожалел.

– Это в чём же? – живо заинтересовался его собеседник.

– Ну... они вот детей лучше воспитывают! Они с ними занимаются больше. Дети у них хорошо учатся, поступают в сильные вузы. Они идут в науку!

– То есть вы хотите сказать, что дети у них умнее? – уточнил сотрудник, что-то энергично записывая.

– Так... ну не то чтобы, но вообще-то... – занервничал папа, представляя, какое широкое толкование, вплоть до сионистского заговора, сейчас могут приписать его словам.

Сотрудник смотрел с поощрительным выжиданием.

– Боже мой, ну так у нас же в институте целые династии, и вам об этом известно, и это уважаемые люди, они выдающиеся физики, и наша наука может ими гордиться, и я всего лишь имел в виду... – нервничал и распалялся папа, потому что вместо округлых нейтральных формулировок в его голове вертелась простая мысль: талантливый ученый заслужил, чтобы власть его хотя бы не трогала! Уже нет речи о привилегиях и должностях...

«Зачем я назвал эти известные фамилии?! – сокрушался папа по дороге домой. – Что с того, что я о них только хорошее сказал, но органы-то всё истолкуют иначе! Найдут, к чему привязаться... да к той же переписке с родственниками за границей! Установить её факт не проблема...

Вдруг я добрым словом только навредил?! Люди-то они, конечно, не маленькие и занимают должности, но тем более падать... Да и как это отразится на их потомках, которых я опрометчиво нахваливал?»

Забегая вперед, скажу, что всё обошлось. Никому папа не навредил, названные им династии процветают, в том числе и в других частях света, но совестливый человек всю жизнь помнит даже миновавшую его чашу. Помнить её надлежит и мне, потому что... отчасти из-за меня произошёл тот неосторожный разговор. Это ведь я сильно проигрывала умным и смекалистым дядям – любой национальности, будем объективны! Это я категорически не унаследовала математического склада ума и способностей к точным наукам. А ведь моего отца завораживали и восхищали способности юных дарований к физике, особенно к теории высокого полёта! «Да что вы, Елена Андреевна, – отнекивался он по телефону от благодарной матери ученика, давно живущего в Америке. – Ведь ваш сын уже в десятом классе решал физтеховские задачи лучше меня!»

А я, значит, вместо того, чтобы одолеть хотя бы одну посильную задачку, иду на встречу с подозрительным писателем... Какая от этого польза отцу-физику, скажите на милость?! Имел он право на досадливую ноту без всякой задней мысли... Без мысли, но с неосознанной родительской провокацией, которая часто играет роковую роль в воспитании. Дескать, Бог не дал научного ума, так упрись бодливым рогом в тернистое литературное поприще. Потому что, хотя и нет любви из жалости, но есть судьба из упрямства. А без упрямства, без титанического сизифова упрямства в литературе делать нечего. И потому был дан мне мой внезапный подзащитный, – чтобы мечталось мне, вопреки терниям и напастям, что в итоге и меня вдруг заметит кто-то наивный и пытливый, впечатлительный и щепетильный, любопытный и чуткий. И талантливый, конечно! Заметит меня и скажет:

«Есть такой писатель!»